

Пушинка

Отец до боли крепко сжимал мою руку. Но я был рад... Не тому, что до боли, а тому, что идём в цирк. Я ничего не слышал. Словно бы оглох и... летаю. Отец крепко сжимал мою руку и шёл вперёд, а я парил над его головой и ещё крепче держался за его ладонь. Чтоб не оторваться. Руки у отца были большущие, очень крепкие и вкусно пахли. Помню, в день моего крещения он дал мне в ладонях воды из родника. И в тот день тоже я ничего не слышал и почти ничего не помню. Только то, что из багажника машины, что стояла во дворе церкви, доносилось жалобное бляение ягнёнка. Да, и ещё были какие-то страшные бородастые люди в женской одежде (очень поздно я понял, что это — слуги Бога). И ещё помню дерево, у которого вместо листьев были какие-то рваные лоскуты. Это было дерево мечты, и каждый лоскуток был чьей-то мечтой. Отец сказал, чтоб и я привязал платок к ветке и загадал желание. Это был мой любимый платок. Другие лоскутки давно уже выцвели на солнце, и мой новый платок стал самым ярким пятном в кроне, а мне казалось, что моя мечта — самая, самая... Но плохо то, что не помню, что я тогда загадал, и не знаю, радоваться ли мне или огорчаться, ведь не знаю, исполнилось ли моё желание.

Круг цирка мне понравился. Откуда-то сверху доносилась музыка, и я её слушал. И очень хотелось туда, наверх, встать рядом с барабанщиком. Но я понимал, что пятилетнему мальчику это ну уж никак не будет дозволено. В первый раз увидел слона. И слон в первый раз увидел меня... И опять оглох. Даже музыку не слышал. Они играли, но звуков не было. Вернее, какие-то звуки были, звуки трещащих от ветра лоскутков. В тот день, когда возвращались домой, всё было по-другому. Даже комната моя казалась другой... Спать не хотелось. Я повернулся к стене, чертил на ней пальцем. Глаза стали слипаться, я опять оглох и... Я в цирке.

Утром был дождь во всём белом свете. Слышен был только его звук. Я снаружи видел, как стою у окна и смотрю во двор. Я дышал, и окно помутнело. Я начал чертить пальцем... Слон был на стекле, и дождь тёк прямо по нему. Вернее, даже не тёк, а прыгал сверху вниз, или снизу вверх... Не важно. Важно то, что он, дождь, прыгал. Дождь

прекратился, и я, задрвав голову, смотрел на голубое умытое небо. В голове крутилась музыка, которую услышал в цирке. В голове крутилось всё, что я там увидел. Очень хотелось стать клоуном, потому что клоун может и умеет всё, хоть и делает вид, что не умеет. Хотелось дрессировать животных, но их не было.

Во дворе был только я — и больше никого. И окна дома тоже были пусты. Только в одном, на втором этаже, виднелась голова человека. Этот дядя всегда сидел перед окном и смотрел наружу. Я знал его. Как-то открылись двери лифта, и я увидел его, сидящего на коляске... И убежал. Мне казалось, что сейчас он на меня смотрит, потому что больше никого во дворе не было. Одиночество бы утомило, если бы не вчерашние «цирковые» впечатления.

Сидя на краю песочницы, черчу каким-то прутиком линии. Вдруг увидел у ног муравья, который суетливо бегал туда-сюда, словно что-то потерял и не находит. Стал дрессировать муравья — начертить прутиком на песке круг, как в цирке. Потом подтолкнул муравья в круг. От прикосновения он забегал быстрее. Но меня не слушался. Я ставил какие-то преграды, камни, чтоб он лез на них, но муравей не слушался. Просто обходил препятствия. Нет, он не ленился, просто не подчинялся, потому что никогда не был в цирке и не знал, что это такое. И всё время вылезал за контуры круга. Я увеличил арену, но он всё равно норовил выйти из круга. Я увеличил круг настолько, что там бы поместился и слон. Муравей ушёл из цирка. И в цирке остались лишь я да дядя, смотрящий во двор из окна на третьем этаже. В момент постигло разочарование, просто потому, что я не знал, не догадывался, насколько всё будет хорошо. Если б догадывался, то не разочаровывался бы. Но не знал. Думаю, вообще никто не знает. Даже отец мой не знал. И он тоже разочаровывался. И он, и слон, и муравей, и дядя с третьего этажа. И вдруг стало хорошо, просто великолепно.

... Жаль просто, что не помню того момента, не запомнилось. Наверное, просто не заметил, откуда вдруг прилетела ко мне пушинка. Ко мне. Ко мне в цирк. Я сразу же вскочил и протянул к ней руку. Пушинка спокойно села на неё. Я приблизил её

вплотную к лицу, чтобы лучше разглядеть, и она неожиданно взлетела, сделала круг над моей головой. И вновь возвратилась мне на руку... И я опять оглох. Ничего не слышал. Совершенно ничего. Ни цирковой музыки, ни шороха ветра в лоскутах. Я просто смотрел на пушинку, которая хохотала в голос и летала. Я, как заправский цирковой дрессировщик, вытянул палочку, а пушинка летала над ней. Я смотрел на неё и был счастлив, и мне казалось, что это я летаю. Я тогда не видел, но сейчас уверен, что дядя с третьего этажа смотрел на меня, на пушинку и улыбался. А пушинка продолжала летать. Солнца поубавилось, и вдруг мне показалось, что стали слышны звуки лоскутков, но это был всего лишь шорох листьев. Пушинка вместе с шорохом, кружась, взмыла в небо. Но за пределы очерченного мной круга не вышла. Просто летела вверх до тех пор, пока не исчезла. А я смотрел вслед и улыбался. Я был почти клоуном. И шорох рваных лоскутов доносился с неба...

Адажио

Мужчина с потёртой коричневой сумкой на короткой широкой лямке через плечо и чемоданами в руках, тяжело дыша, прошёл мимо меня. Я затаил дыхание. Я всегда так делаю, когда рядом вплотную проходят люди. Полоса стала белой. Снег продолжал идти. Задержали рейс. Вылет — через два часа. Придётся подождать. А может, это и к лучшему...

Я направился в зал ожидания и сел на единственное свободное кресло, рядом с беременной женщиной. Эхом звучал неразборчивый, погружающий в транс голос диспетчера. Я надел наушники. Вдруг откуда-то сверху возникли кленовые листья, как расплывчатые жёлто-красные пятна, тихо вздрагивая на ветру, стали кружить и парить по всему залу. Медленно моргающие сотни глаз, устремлённые в просторы вечности, растворились в небытие. Я слушал Адажио Альбиниони. Тела, отделённые от душ, пребывали во всеобъемлющей

монотонной гармонии. Душа была одна, единая на всех. Силуэты... Лица, будто ждущие приговора. В странном замешательстве обнимающиеся тела. Сдержанные слёзы. Полудействия, полужесты, полуулыбки... Пластика во всей её простоте и правде, без малейших прикрас, напоминающая фигуры, сошедшие с полотна старого голландского мастера.

Беременная женщина светилась. Рядом с ней меня охватило чувство вины, мне казалось, что я в чём-то ошибся, промахнулся, согрешил. После того как на площади снесли памятник великому вождю, я всегда представлял себе на этом месте статую беременной, ведь она в этом состоянии прекрасна, божественна, целая вселенная разворачивается у неё внутри, это символ любви, продолжения жизни на земле. Это тепло.

Адажио продолжало звучать. В углу стоял старик в сером плаще, среднего роста, с белыми волосами, с застенчивой улыбкой и прекрасными глубокими чёрными глазами. Люди приезжали, уезжали, прилетали, улетали, а он ждал и внимательно следил за происходящим. Вдруг подходил к очередному пассажиру и с нежной улыбкой что-то говорил, а в конце, провожая его взглядом, махал вслед дрожащей рукой... И снова, прищурившись, пристально продолжал искать людей в толпе. Он подходил к тем, кто был один, кого не пришли встречать в аэропорту, и провожал тех, кого никто не провожал. Ведь это важно, когда тебя ждут. Важно кому-то быть нужным. Важно на прощание сказать: «Береги себя. Возвращайся. Я буду ждать».

Музыка закончилась. Адажио перестало звучать. Диспетчер объявил регистрацию на рейс. Старика не было... Может, это плод моего воображения? А женщина, что сидела рядом, оказалась вовсе и не беременна, а просто слегка полновата, но светилась. В самолёте около меня сидел мужчина с потёртой коричневой сумкой на короткой широкой лямке.